

*Жизнь — без начала и конца.
Нас всех подстерегает случай.
Над нами — сумрак неминуемый,
Иль ясность божьего лица.*

Блок. Возмездие

1984

(продолжение)

* * *

10.03.1984. После малоснежной зимы, теперь, когда температура поднялась до 0°, вдруг густо повалил снег. И вот — превращается в слякоть.

Работа не идет. Вторую неделю буксую на одной фразе — и ни с места! Такого, кажется, даже с Флобером не случилось. Я в отчаянии.

Казалось бы, что может быть проще: пренебреги неудавшимся местом и иди себе дальше. Потом можно будет вернуться и переделать; главное — не потерять темп. Ан нет: сознание закоривается в злосчастной фразе (то есть в злосчастной мысли), даже не понимая толком причин своей неудовлетворенности; канат натягивается и не пускает.

Ведь есть некое неопровержимое основание, препятствующее тому, кто решается написать что бы то ни было...

Платон. Письма. VII. 342 а

Как знать, а вдруг после того, как злосчастная фраза (то есть мысль) обретет наконец нужную форму, откроется совсем другой путь для дальнейшего движения? «Там одно слово убавлено, здесь прибавлено, а тут переставлено — и все выходит другое», — говаривал Гоголь (если верить С. Т. Аксакову). «Иначе расставленные слова обретают другой смысл», — подтверждает Паскаль.

То, что предложение выражает, оно выражает определенным, четко упорядоченным способом: предложение внутренне организовано.

Витгенштейн. Логико-философский трактат. 3. 251.

Вот и произвожу я бесконечные перестановки слов в поисках ускользающего смысла.

* * *

Мне нужен успех, громкий и несомненный успех, который возвысил бы меня в собственных глазах, вернул утраченную уверенность в себе, вырвал из набитой колеи и начал новую полосу в моей жизни. *Эта* жизнь меня убивает. Я вступил

в пору зрелости, в пору спокойного сознания своих сил...
Не такой я человек, чтобы обойтись подкожными запасами.

...Пора, наконец, добиться успеха или же броситься
из окна.

Флобер. Письмо Луизе Коло. 16 января 1852 г.

Нужно, следовательно, защитить диссертацию, и поскорее,
другого выхода у меня нет. Боюсь, однако, что я не только
созрел, но успел уже и перезреть для этого выхода. Мне
неинтересно то, что я сейчас пишу. Поэтому и пишется так
трудно.

Записывание, изложение познанного (как бы познанного)
есть обычно самая эффективная фаза познания. *Вторым
знанием* называет Потетбня «познание, совершающееся
в слове»¹. Это не просто фиксация уже «готового» знания.
Усилия, необходимые для подыскивания нужного слова,
активизируют мысль так, как это невозможно было прежде:
тут не только мысль — тут все существо человека
сосредоточено в одном стремлении. Только такая —
направленная — сосредоточенность и способна вывести
сознание из созерцательного состояния, преодолеть извечную
дихотомию «субъекта» и «объекта», проникнуть, вжиться в
предстоящий сознанию предмет. Поэтому усилия,
направленные, казалось бы, только на письменную фиксацию
уже «готового» знания, — именно они-то и приводят
к рождению, к *созданию* этого знания². «Готовое» знание
всегда преобразуется в процессе оформления, и подчас
неузнаваемо преобразуется.

Здесь и впрямь можно утверждать: лишь отыскав, узнают,
что искали.

Витгенштейн. Культура и ценность. 385

И это *переживаемое* становление чего-то нового,
недоступного прежде, это достигнутое наконец единство
приносит радость...

*Le hasard vaincu mot pur mot*³.

А я теперь озабочен лишь тем, чтобы возможно точнее
отразить уже действительно готовое, варившееся во мне лет
пятнадцать, если не больше, и много раз перекипевшее
знание. Процесс оформления запоздал, нажитое мной успело
остыть, скиснуть, превратилось как бы в общеизвестное. Я не

способен еще раз это «пережить». Одного яйца два раза не высидишь! — справедливо замечает Козьма Прутков.

Я совершенно ясно представляю, что я должен написать; все мои усилия направлены только к тому, чтобы написанное вполне соответствовало этому представлению. Неожиданности, открытия — исключены; все давно готово. Мне потому и трудно, что — скучно. Зачем писать, если и так все готово? Я вымотан и обессилен, как никогда.

* * *

Но если я еще способен написать эти слова: «вымотан», «обессилен», — значит, не все потеряно.

Добро, Петрович, ино еще побредем⁴.

* * *

18.04.1984. Вернулся из Астрахани, где пробыл восемь дней. Сначала нас было шестеро: Панкин, Леша Кирилловский, Зиновьев, Экк, Ванда из отдела Колтуновой и я. Мне пришлось внедриться в эту группу, чтобы получить часть той суммы, которая причитается нам с Серегой Гельфером по договору за сданные еще осенью паспорта. Деньги — 2266 рублей — я получил в первый же день, остальное обещали в июле.

Мы обследовали и обмеряли дом Демидова. Через пару дней уехал Экк, выполнив свои инженерные изыскания, еще через день — Ванда с собранными из зондажей образцами раствора. Мы остались вчетвером. Жили дружно и работали интенсивно. В последний вечер отпраздновали мой день рождения, пригласив к себе в «Астраханскую» трех девочек из бригады Женьки Журина — они жили в «Новомосковской».

Вообще наших, из разных мастерских, в этот раз что-то много понаехало в Астрахань: в общей сложности человек тридцать. Каждое утро, отправляясь на объект, мы проходили мимо работающих на Советской улице наших геодезистов; каждый раз, заходя к Мишенькину в контору, я встречал у него Журина. Но мне и в голову не могло прийти, что у Женьки работает здесь Ира Родионовская. Я прямо взвыл, когда узнал, что целую неделю она была рядом, а я не подозревал об этом.

Мы пили водку в нашем с Панкиным номере, закусывали щукой, сазаном, консервами. Ребята устроили мне замечательный праздник. Позже подошли Мишенькин

и новый его сотрудник (Саша, кажется). Я спустился в магазин и купил еще две бутылки. Дальше нечетко помню. С наступлением темноты мы вышли гулять, и на волжской набережной я остался наедине с Ирой. Я привел ее в бар «Лотоса», тут к нам присоединился совершенно пьяный улыбающийся красавец Леша. Меня распирало желание разгула — утром я снял с аккредитива полторы сотни, — и в баре я заказывал коньяк. Потом мне удалось избавиться от Леши, а мы с Ирой оказались на набережной Канала. Не понимаю, как мы туда добрались: мы только и делали, что целовались. Я затаскивал ее в такие закоулки, где ночью и один не решился бы появиться. На углу Кировской она сказала, что хочет вернуться в гостиницу. Я проводил ее до «Новомосковской» и долго еще торчал на улице, с пьяным упрямством ожидая, что она выглянет в окно. Она не выглянула.

Вернувшись в «Астраханскую», узнал от Панкина, что Леша пропал. Дальше случилось следующее. Наутро Панкин мне рассказал, что, выслушав его, я немедленно взял инициативу в свои руки. Я, по его словам, действовал складно и организованно. Прежде всего решительно заявил, что Лешу необходимо найти и что это мое дело. Затем сел на койку и выкурил сигарету. Затем встал и направился к выходу. Затем вернулся, чтобы захватить документы, и при этом беспрестанно повторял, что мы сейчас всю Астрахань перевернем; а когда наконец мы вышли из подъезда и нам навстречу из темноты выплыла все та же пьяная Лешина улыбка, — тут я выключился.

— Это произошло мгновенно, — рассказывал Панкин. — Даже удивительно: был человек — и нет его! Обратно в номер ты катился по стенке...

Утром мне было скверно. Даже чая, которым отпаивал меня Панкин, душа не принимала. Мы отправились на поиски кефира. Денек был серый и ветреный, накрапывал дождь. В магазине на Стрелке выпили черного кофе с простоквашей, есть бутерброды я побоялся, но купил с лотка два яйца и в номере сварил их всмятку. Немного полегчало. Тогда, преодолевая слабость и головокружение, в сопровождении Панкина я съездил на рыбный рынок, купил два десятка тарани («тарашки», как ее здесь называют) в Москву, после чего успел еще добежать до «Новомосковской», чтобы увидеться с Ирой, — они там во главе с Журиным *тянули ноль* по первому этажу — и на обратном пути купил в магазине двух сазанов горячего копчения.

Когда вернулся в гостиницу, ребята меня уже ждали (Леша за это время побывал у Мишенькина, заполнил журнал архитектурного надзора). Мы взяли свои вещи и вышли к автобусу, чтобы ехать в аэропорт.

* * *

Ходил в военкомат — просить для Мити отсрочку. Я объяснил все как есть: что вот уже два года парень усердно и добросовестно занимается биологией, ни девочек, ни пьянок, ни телевизора — приходит с работы и сразу за книги; что в прошлом году он не добрал всего полбалла на биофак и, имея возможность наверняка поступить в Институт тонкой химической технологии, наотрез отказался от нее; что от армии он не уклоняется, да и не избежит ее в любом случае, но пусть сначала сдаст экзамены — обидно будет, если такая целеустремленная подготовка пропадет впустую.

Военком — краснолицый полковник — выслушал меня внимательно.

— Хорошо вас понимаю, — сказал он. — Но, к сожалению, сделать для вас ничего не могу. Не мы определяем сроки. Вся эта партия, в которую входит ваш сын, должна быть отправлена до десятого июня.

— Но как раз десятого, — возразил я, — ему и исполнится восемнадцать. Стало быть, он не подлежит весеннему призыву...

— Все равно, — ответил военком уклончиво.

Ну что ж, — я подумал, — если вы не можете, значит, мы можем. Все ясно: в июне Митя должен исчезнуть. Нет его! Уехал, испарился! И все тут.

С любимым доброжелателен и прост,
ни хитростью не тронут, ни коварством,
я выжига, пройдоха и прохвост,
когда имею дело с государством.

Губерман. Гарики

Старая солдатская заповедь: «быстрая вошка первая под ноготь попадает». Значит, нужно затаиться и ждать. Нет, я не все сказал военкому. Я не сказал, что Митя вовсе не жаждет попасть в армию. Он ее ненавидит, и правильно! Это уже не та армия, в которой я служил, — она теперь осрамившаяся, *оккупационная* армия, и наши солдаты погибают в Афганистане, как в свое время немецкие каратели

в Белоруссии. (А в похоронках пишут об «интернациональном долге»... Какой, к черту, «долг», если половина населения оккупированной страны уходит за границу, а другая половина берется за оружие, чтобы начать партизанскую войну с «освободителями»!) Или возвращаются наркоманами и головорезами. Подальше от такой армии!

* * *

30.04.1984. С увлечением и удивленным восторгом прочел «Высшее понимание» Бхагавана шри Раджниша (толкование «Песен Махамудры»). Вот книга, вот учение, которое могло бы... Я чуть было не написал: перевернуть мир. Во всяком случае, мой мир оно перевернуло. Но, как и всякий подлинный духовный переворот, этот совершился посредством самопознания. Я не узнал ничего нового — я *узнавал себя* на каждой странице.

Мне чудилось, что я сам написал эту книгу в какую-нибудь из своих предыдущих жизней, настолько точно и полно она соответствовала моим думам и моему жизненному опыту.

Эмерсон. Представители человечества

Даосизм и конфуцианство, Платон и Аристотель, тантра и йога... Все это — учения, взаимно дополняющие, а вовсе не исключают друг друга. Они возникают в бинарной соотнесенности друг к другу — не важно, в какой исторической последовательности. Конфуций — ступень к Лао-цзы, Аристотель — к Платону, Патанджали — к Тилопе и т. д. Нижняя ступень — это дисциплина, выучка, постепенное и последовательное восхождение к совершенству. Это культура внешняя, обращенная ко всем, всем доступная и сама себя толкующая как общеобязательную; как правило, она и получает официальное признание. Верхняя ступень, эзотерическая, напротив, требует внутреннего, уже присущего знания, способного во внезапном озарении опознать само себя как средоточие мира. Старательность и буквальное понимание тут не помогут — тут надобны раскованность и спонтанность, а слово служит лишь мостом к неизреченному и потому не боится многозначности и противоречий. Тут никого не зовут и никому не навязываются, избранные сами находят сюда дорогу. «Есть те, кто знает, а есть те, кто не знает, так что Бог не хотел направлять всех», — говорит Ибн Араби⁵, а Паскаль

скрепляет: «Ничего мы не поймем в делах Божиих, если не исходить из того, что Он желал ослепить одних и просветить других»⁶. Вот в чем сущность различия — Раджниш умолчал об этом: *высшее понимание* существует только для избранных и никогда не станет достоянием всех.

Учение, имеющее смысл на высших ступенях, ничего не значит для людей, находящихся в данное время на низших ступенях; они *способны* понять это лишь *превратно*...

Витгенштейн. Культура и ценность. 164

А ведь еще сам Будда сказал: «Если глупец связан с мудрым даже всю свою жизнь, он знает дхамму не больше, чем ложка — кус похлебки. Если хотя бы мгновение умный связан с мудрым, быстро знакомится он с дхаммой, как язык с вкусом похлебки»⁷. Всякая попытка тех, кого Платон называл *οι πολλοί*, а Ницше — «многими, слишком многими», — всякая их попытка пробиться к «высшему пониманию», уверовать в него, таит в себе страшную опасность и для них, и для общества в целом.

...На этом пути соватился простой народ, приняв проявление не за образ, а за истину.

Николай Кузанский. Об ученом незнании. I. 25. 84

Как может человек массового сознания воспринять и претворить в жизнь такое, например, положение: «Будьте пусты, естественны и раскованны», — страшно даже подумать. *Terret vulgus, nisi paveat*⁸.

Наши высшие прозрения должны — и обязательно! — казаться безумствами, а смотря по обстоятельствам, и преступлениями, если они запретными путями достигают слуха тех людей, которые не созданы, не предназначены для этого.

Ницше. По ту сторону добра и зла. II. 30

Поэтому и советует праведный халиф Али: «Говори людям лишь то, что им понятно, так, чтобы они не приписывали ложного Богу и его пророку», а Ибн Рушд подтверждает: «Правильные толкования нельзя излагать в книгах, предназначенных для публики».

...Гораздо лучше обходить это молчанием, а если уж и нужно почему-либо рассказать, так пусть лишь весьма немногие втайне выслушают это...

Платон. Государство. II. 378

Выходит, люди делятся на высший сорт и низший? Впервые мысль о такой сортировке была ясно осознана мною в Горьком, когда я дожидался Жарика у подъезда его дома. Был жаркий летний вечер, тот час, когда люди возвращаются с работы. Одни, не торопясь идти в дом, останавливались, чтобы покурить и поболтать с соседом, другие, видимо, уже поужинав, выходили во двор. Почти все пролетарское население этого огромного окраинного дома находилось во дворе. Все до одного были «под газом». Видно было, что это не сегодня только, что это — обычное, нормальное их состояние. Смутные, взъерошенные фигуры болтались по двору, обмениваясь зычными нечленораздельными выкриками, и с хохотом расходились. Тупые, уродливые лица, нелепые жесты, грубые, бессвязные реплики — все вызывало отвращение. Картина человеческого вырождения предстала здесь во всей своей неприглядной полноте. Прямо передо мной стоял мальчик лет восьми и, глядя на меня белыми бессмысленными лупетками, с бесстрашием идиота жевал одну за другой шоколадные конфеты из кулька, который сунул ему отец.

...Пойди и скажи этому народу: слухом услышите — и не уразумеете, и очами смотреть будете — и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем...

Ис. 6 : 9—10

Да, это было *быдло*, что тут скажешь? Я знаю, что в редких, исключительных обстоятельствах кто-то из них (кого я не мог тогда разглядеть) окажется способен на подвиг, на самопожертвование, что все вместе, когда потребуются, они способны на массовый героизм... Но в ту минуту мне стало страшно.

Я далек от того, чтобы пытаться объяснить их сознание из их «бытия»: мол, дай им другие условия, и они станут другими. Еще неизвестно, что за чем следует: скотские условия жизни, а затем ее бесцельность, пьянство и вырождение, или наоборот. Не вернее ли, что они сами создают себе такие условия? Тут, очевидно, какая-то

встречная предрасположенность. Так что дело не в условиях, не в «бытии».

Причины внутри. Снаружи есть только оправдание.

Раджниш. Прямо к свободе

Но я далек также и от того, чтобы идеализировать ту публику, которая мнит себя интеллигенцией, солью земли и горделиво претендует на «духовность»: знаю, из каких мещан и шкурников она состоит⁹.

И все-таки разделение на «высших» и «низших», на *хассу* и *амму*, существует. Но кому доверить окончательный приговор? С одной стороны, стадо норовит подмять и уничтожить избранного, с другой — избранный далеко не всегда противопоставляет себя стаду (стремление отъединиться или схватиться за кнут само по себе еще не является признаком избранности). Скорее, не избранный, а стадо заинтересовано в приговоре. Поэтому общество инстинктивно защищается от пророка, поэтому государство и гонит — подальше от греха — самого Раджниша.

Избранный сам знает, что он — избранный, и не нуждается ни в каких *оргвыводах*. Он говорит: «У меня нет никаких оснований предполагать, что люди эти заслужили свою участь, в то время как я, в отличие от них, безгрешен. Если я ни в чем не повинен, о них можно сказать то же самое; если они преступны, я преступен тоже»¹⁰.

Не наше, а Божье это дело.

...Люди избираются и распределяются не столько вследствие своего превосходства, сколько вследствие сообразности, в какой находятся с замыслом Божиим...

Лейбниц. Теодицея. I. 105

* * *

2.05.1984. Пасмурно, грустно. Поехали с Сеней на кладбище. Он не был там ни разу, а я, к стыду своему, давно, так давно, что боялся не найти могилу. Мы поехали втайне от домашних, никому ничего не сказав. Нашли сразу. Сеня сбегал за водой, я помыл камень, и в ту же баночку мы поставили букетик тюльпанов. Я рассказывал Сене о его прадедушке и прабабушке, которые смотрели на нас с фотографии, о Вале, бывшей домработнице, которая стала членом нашей семьи задолго до того, как вышла замуж за моего дядю, вернувшегося из лагеря. Потом посидели

молча под накрапывающим дождиком. На соседнюю могилу пришли две женщины, повозились, посидели и ушли. Березы стояли недвижимо. Тихо было. Только птицы сдержанно щебетали в свежей вымокшей листве.

Бабушка

Хорошо помню, как она умирала. Августовским вечером шестнадцать лет назад, только что вернувшись домой после очередного *окончательного* разрыва с Королевой Марго, я смотрел какую-то дрянь по телевизору, а мама сидела на кухне со своими старинными закадычнейшими подругами Ниной Григорьевной и Анной Львовной. Зазвонил телефон. Мама взяла трубку; я продолжал пялиться в телевизор.

— Сережа, с бабушкой плохо! — крикнула мама. — Быстрее на дачу!

Телевизор погас, квартира наполнилась громким взволнованным разговором. Я выбежал к перекрестку за машиной. Мы с мамой и Нина Григорьевна сели в такси, Анна Львовна осталась в опустевшей квартире ждать от нас известий.

В этот вечер, часов около девяти, бабушка и Молчушка с Микой пили чай на дачной веранде; больше в доме никого не было. Над столом светила лампа с абажуром, за стеклами веранды сгустилась темень. Вдруг бабушка наклонилась над своей чашкой и стала медленно сползать со стула. Молчушка бросилась к ней — бабушкино тело всей тяжестью навалилось на нее.

— Мика, — попросила она, — кликни кого-нибудь скорее! Открой дверь и беги по дорожке, зови на помощь...

Наш двухлетний малыш кое-как выбрался из своего высокого стульчика, но силенок отворить дверь в сад ему не хватило.

— Я не могу, — сказал он.

— А ты — попочкой!

— И попочкой не могу!

— Тогда открой окно и зови дядю Сашу. Громче кричи.

Мика передвинул стул, вскарабкался на него и распахнул окно. Он кричал в темноту, пока не прибежали хозяева дачи. Дядя Саша поехал на велосипеде в Жаворонки — вызывать «скорую помощь» из Перхушкова, а хозяйка помогла Молчушке перенести бабушку на кровать. Потом Молчушка побежала на станцию и упростила кассиршу позвонить в Москву.

Когда мы приехали, бабушка была без сознания: один глаз открыт, рот перекошен, из горла с трудом выталкивались

страшные хриплые звуки. Правая рука непрерывно беспомощно двигалась, призывая нас и отталкивая, судорожно нащупывая предметы, временами стараясь дотянуться до головы; вся левая половина тела была парализована.

— Фельдшер был, — сообщила Молчушка. — Это инсульт.

Сознание вернулось к бабушке. Она узнавала нас и нечленораздельным мычанием пыталась допроситься чего-то. Мы склонялись над нею: воды? тряпочку сменить? приподнять?.. Она мотала головой: нет, нет! — и снова просила... Мама принялась расправлять сбитые простыни.

— Она же мокрая! Сережа, приподними ее, мы постель поменяем. Боже мой, я даже не знаю, можно ли ее трогать!

Бабушка упорно отталкивала меня и мычала.

— Что, миленький, что, мой хороший? — приговаривала мама. — Боже мой, она все понимает! Сергей, выйди из комнаты.

Всю ночь мама просидела возле бабушки. Я сидел в соседней комнате, уткнувшись в дневники Стендаля (эта книга — последнее, что, вняв моим восторженным отзывам, читала бабушка), и время от времени поднимался, чтобы сменить воду в грелке. Свет горел во всех комнатах. Под утро я уснул на веранде, не раздеваясь, дрожа от сырости, накинув на себя чье-то пальто.

Утром отправился в Жаворонки, в амбулаторию, и вернулся с фельдшерницей, заручившись обещанием врача прийти, как только закончит прием больных.

— Вот что, — встретила меня мама. — поезжай-ка ты в Москву, в нашу литфондовскую поликлинику. Проси как хочешь, валяйся в ногах, но добейся, чтобы прислали за бабушкой машину. Мы не можем ее здесь оставлять. Беги, сынок, и возвращайся скорее.

Я поехал. Литфондовский врач Белла Борисовна сразу же отказала наотрез. Есть законы, сказала она, при инсульте перевозить больного категорически запрещено, единственное лечение — полный покой.

— Но вы поймите, — настаивал я, — у нас нет никакой возможности помочь ей. Ведь случись что — мы абсолютно беспомощны. До ближайшего телефона три километра, а ночью мы вообще отрезаны от внешнего мира...

— Вы не довезете ее, она умрет по дороге.

— Она умрет, если мы ничего не предпримем. Шансы здесь поровну, и виновны мы будем одинаково в обоих

случаях. Так лучше хоть что-нибудь сделать, чтобы попытаться спасти человека.

— Сядьте, Сережа, успокойтесь. Я вам вот что скажу. Вся помощь, на которую мы способны, — это ничто. Понимаете, ничто. Я откровенно говорю... Надежда — только на ее организм, в этих обстоятельствах только он может сам себя вытянуть. А организм ее сейчас — как паутинка. Тронете — и она порвется. Так что перевозить ее мы, конечно, не будем, не говоря уж о том, что машину нам на это никто не даст. Идите-ка вы лучше к нашему невропатологу Эммануилу Владимировичу Орлу, это великолепный специалист. Попросите его съездить к бабушке. И купите вот эти лекарства. Вот все, что я могу предложить.

Я ждал невропатолога, сидя у двери его кабинета. В два он появился.

— Погодите, — сказал он, выслушав мою просьбу. — Зайдите в кабинет. Как фамилия больной?

— Кабо.

— Люба?! — Он даже привскочил.

— Нет, ее мать.

— Сколько лет?

— Через несколько дней восемьдесят исполнится.

— Да, плохо дело. — Он уже разговаривал сам с собой. — Как же быть? Время у меня сегодня и завтра загружено полностью... Что делать? Вы вот что, — это уже мне, — вы сходите пока к главврачу, к Гиллеру, попробуйте выпросить для нас машину на завтра, потом ждите меня здесь, я скоро вернусь.

Через некоторое время я снова поджидал Орла у его кабинета. Едва не заснул на стуле.

— Эммануил Владимирович, придется на такси. Когда за вами заехать?

— Не дал машину? Черт, я освобождаюсь сегодня поздно! Ладно, что делать, подъезжайте к девяти, вот адрес. Постарайтесь до тех пор достать лекарства, рецепты есть у вас? Покажите. Так, магnezия, правильно... Свечи, хорошо... Как вас зовут? Сергей? Вы сын Любы? Слышал о вас много интересного... Ну ладно, по дороге поговорим. До вечера!

После этого я бегал по аптекам. Эфеленовые свечи нашел только на Новослободской. Усталости я не чувствовал, лишь сухую бессонницу в глазах. Вечером был на квартире Орла в Химках, меня просили подождать. Я прохаживался по комнате, увешанной иконами, и курил. Лихорадочное

возбуждение, которое весь день носило меня по городу, не давало присесть и сейчас.

— Поехали! — сказал Орел.

В такси мы разговаривали об иконах. На темном шоссе ветер свистел в ушах.

Войдя в комнату, где лежала бабушка, Орел с профессиональным спокойствием принялся за дело. Ежик на его голове просвечивал до темени. Я прислонился в дверях.

— Вы знаете, — говорила мама, — она пишет нам записки. Вот и вот, смотрите. А вот даже шутливая: «Погрузите меня в орбиту сна и покоя».

— Пройдемте в другую комнату, — сказал Орел. — Не хочу вас обманывать, положение тяжелое. В любую минуту может случиться худшее. Но я впервые такое вижу — за двадцать семь лет практики! — чтобы человек в таком состоянии писал записки... Будем надеяться!

— Она работала до последнего дня. Она все время много работала...

— А чем она занимается?

— Она — ученый. Статистик, экономист, социолог...

— Будем надеяться, — повторил Орел.

Я светил ему фонариком, когда он шел к машине.

— Простите, — сказал ему на прощанье, — что я был так настойчив. Спасибо вам!

— Обязательно звоните, — ответил он.

На веранде мама разворачивала мои покупки.

— О, и судно привез! И поилку! — удивлялась она. — Молодец, сынок!

— Садись, поешь, — сказала Молчушка. — Угонялся?

Вот что мне было нужно: неожиданный натиск беды, сорвавший меня с места и собравший воедино, бессонная ночь в тревоге, весь день на ногах, забвение себя, готовность к любым жертвам ради любимого человека, груз ответственности, несколько добрых слов, брошенных мне на ходу, — и вот я снова стал таким, каким всегда хотел себя видеть. В соседней комнате бабушка из последних сил борется со смертью, мы все в напряжении, одеревенелые, готовые ко всему, — а мне, странно сказать, почти весело. И несутся в мозгу симоняновские «кони-звери», неотвязно звучит протяжное «э-э-эх!..» — приглушенное, томительное, степное, дикое, как свист ветра в ушах во время бешеной скачки.

Бабушка умерла через день, рано утром 20 августа.

Накануне ей стало хуже. Последние записки были бредовыми: она просила маму выдать всем нам чаю с вареньем, слово «всем» подчеркнуто. Дыхание стало учащенным, она уже не приходила в сознание. Мама послала меня за врачом в перхушковскую больницу.

Дежурила Марья Андреевна, уже приходившая к нам по вызову, молодая, деловитая.

— Ведь она все равно умрет, ваша бабушка, чего вы бегаєте...

— Мы все умрем рано или поздно, — ответил я. — Но существуют же зачем-то врачи.

Она посмотрела на меня:

— Хорошо, подождите.

Ждать пришлось три часа. Посетителей, нуждавшихся в срочной помощи, было много, она принимала их вместе с фельдшером. Пришел, посвистывая, молодой парень, страшно избитый, ждал перевязки. Принесли на руках мальчика, покусанного собакой, он стонал и вскрикивал, когда ему делали укол. «Ничего, — утешал его парень, — люди бывают злее собак». Пришел мужичок, отрубивший себе палец топором. Другой привел жену, бледную, повисавшую на его плече... Наконец Марья Андреевна освободилась, и мы поехали.

— Это воспаление легких, — определила она, осмотрев бабушку, и прописала новый курс лечения. Уходя, попросила меня выйти с нею во двор.

— Не передавайте, пожалуйста, вашей маме того, что я сказала давеча. Она живет надеждой, не передавайте. А мы сделаем все, что в наших силах.

Я дежурил около бабушки до двенадцати. Она дышала, как птичка, — неглубоко и часто; в горле у нее клокотало. Я поставил ей горчичники и поминутно менял мокрую тряпку на лбу, которая сразу же становилась сухой и горячей. Потом меня сменила мама. В половине четвертого она меня разбудила:

— Вставай скорей, сынок, с бабушкой плохо! Мне страшно, вставай! Боже мой, что же делать? Беги куда-нибудь!

Я вывел хозяйский велосипед и помчался на станцию. Пробежал по пустой платформе, постучал в окошечко кассы. Заспанная кассирша принялась дозваниваться до Перхушкова. Я ждал «скорую помощь» у переезда, дрожа от утреннего холода. Сторожиха шлагбаума дала мне закурить. Из темноты подъехала машина.

— Дорогу знаете? — спросил я.

— Знаем, — пробурчал хмурый фельдшер. — Ездили уже.

Я старался не отставать от машины. Начало развидняться; по шоссе, по пруду, по лугам полз туман. К даче мы подъехали одновременно, в бабушкину комнату я вбежал вместе с фельдшером. Все было кончено.

Фельдшер проверил пульс, потрогал бабушкины закрытые глаза, приподняв перину, осмотрел ноги, на которых проступали уже синеватые пятна.

— Зачем было «скорую» вызывать? — сказал он грубо.

В наступающем рассвете мы с мамой шли к станции и разговаривали о постороннем. В электричке мама задремала, привалившись головой к оконному стеклу. В Кунцеве мы высадились и на шоссе поймали такси. С первыми лучами солнца въехали в туманную Москву. Завернули к Венцелям в Беляево, я взбежал на четвертый этаж, звонком разбудил всю семью, сообщил о случившемся. Стоя в прихожей, Борис Людвигович и Екатерина Ильинична с ужасом на меня смотрели, Сашка заплакала.

В нашей больнице выяснилось, что записка фельдшера не может служить свидетельством о смерти; на том же такси поехали обратно в Жаворонки. Мама ждала меня в машине, пока я получал свидетельство. Вернулись в Москву, заехали в ЗАГС, потом в похоронное бюро на Донской улице.

— Нет-нет, нам без кистей и лент. И венков тоже не надо. Нам один гроб, пожалуйста.

Машины для перевозки в этот день у них не было, но мы договорились с шофером, высоким кудрявым парнем, что после работы он поедет сам, без наряда. Пообедали в кафе и — домой. Мама засела за телефон, я прилег на диван. Пришла Сашка, занялась уборкой квартиры. В четыре, как было условлено с шофером, я прибыл на Донскую. Ждал во дворике, слушая доносившийся из бюро гам: жулики-шоферюги старались надуть диспетчершу. Видимо, им это удалось — они вывалились во дворик, громко гогоча, хлопая себя по ляжкам и подсчитывая вырубку.

Кудрявого не было. Я договорился с двумя другими, и мы поехали. Я сидел между ними в кабине. Туча, похожая на марево, поглотила солнце, от духоты с нас лил пот.

На даче, кроме Молчушки с Микой, были уже Екатерина Ильинична и Валя, приехавшая из Ленинграда с Леночкой. Гроб внесли в бабушкину комнату. Гробовщики сняли простыню — бабушка лежала пожелтевшая, с втянутой в плечи головой. Они подняли ее за плечи и за ноги и

переложили в гроб, голову сильно вдавили в подголовье. Понесли, погрузили в фургон. Молчушка с Валею сели в кабину (Екатерина Ильинична осталась с детьми), а мы со вторым гробовщиком легли в фургоне на пол по сторонам гроба.

— Только бы на мусора не нарваться.

Гроб подпрыгивал на ходу, крышка съезжала, и то один, то другой из нас поднимался, чтобы поправить ее. Третий раз за этот день я ехал в Москву. Приехали.

— Ну, ты не обидь нас, хозяин, накинь тридцаточку. Рисковали все-таки...

Молчушка с сестрой сбегали в магазин за белой тканью, и я обил ею гроб и крышку. Гроб с бабушкой стоял на обеденном столе, я, сидя на полу, приколачивал маленькие гвозди, а женщины в этой же комнате шили покрывало. Потом, как советовал бальзамировщик, я накрыл бабушкино лицо мокрой тряпочкой и плотно пригладил ее к холодным, окаменевшим чертам.

На следующий день началось вторжение в Чехословакию. Мне, как и многим моим соотечественникам, было стыдно, что я — русский.

Похороны (22-го) прошли с унижительной поспешностью. Мы, будто сговорившись, делали вид, что ничего не произошло. Кто-нибудь посторонний и не догадался бы, что у нас несчастье. А между тем бабушкина смерть потрясла нашу семью до основания.

Маленькая, старомодно опрятная, вся какая-то уютная, она существовала почти незаметно. Терпеливо, неуклонно вела домашнее хозяйство: дружелюбно руководила домработницей, составляла списки покупок, проверяла счета, собирала постельное белье для прачечной и сама пришивала метки, штопала, чинила порванную одежду, организовывала переезды на дачу... В свободные минуты устраивалась в уголке над пожелтевшими листочками, над своей научной работой, которая была сочтена крамольной и запрещена в годы «построения социализма» и которой она продолжала заниматься несмотря ни на что, а теперь, когда эта работа вдруг понадобилась, готовила к печати давно написанные статьи. Тихо, скромно: склонившаяся под абажуром седенькая головка с аккуратным пробором, неизменный шерстяной платок на плечах, округлявший маленькую фигурку... Мягко подшучивала над собой и над нами. Тяжелые приступы гипертонии переносила без жалоб — просто прилегалась на свой диванчик, укрывшись старой

«снотворной» шубкой; только по шубке и можно было догадаться, что ей плохо. Никого не беспокоила, не привлекала к себе внимания. Но все, кто хоть раз побывал в нашем доме, наибольшее впечатление получали от бабушки и постоянно потом о ней вспоминали. Дивились простым, неизвестным нам присказкам, донесенным ею из какого-то другого мира, чистого и благородного, ироническим цитатам из Надсона, который когда-то, в гимназии, в ссылке, был бабушкиным кумиром, — в сочетании с интересом к жизни и пронизательной отзывчивостью на все, что происходило вокруг. Всех поражали эта ясность и твердость духа, живой ум, юмор, лучистая улыбка — ровное, теплое свечение мудрости и доброты, которое озаряло наш дом.

Боль утраты с тех пор, конечно, притупилась (мама долго потом стонала по ночам), но ощущение образовавшейся пустоты не проходит и даже усиливается с годами.

* * *

9.05.1984. Выйдя с улицы Гарибальди на Профсоюзную, я неожиданно стал свидетелем ритуального бега юношей и девушек, проще говоря — праздничной эстафеты старшеклассников.

Сначала я остановился у шеренги девушек и дождался, когда снизу, от площади, прибежала первая партия и настала их очередь бежать. Но стартовали они неинтересно: по-видимому, страсти еще не разгорелись. Затем, спускаясь по Профсоюзной, я сообразил, что могу еще посмотреть завершающий этап эстафеты, которая должна была вернуться по другой стороне улицы. Я остановился у шеренги юношей — она была последней перед финишем.

В старших классах мальчишки развиваются неравномерно: одни остаются совершенными мальчишками, другие выглядят уже вполне сложившимися мужчинами. Были и настоящие юные атлеты. В ожидании старта все они переминались, прохаживались, перекликались и пересмеивались. Особого предстартового волнения я что-то не заметил. Казалось, что предстоящий забег совсем их не касается. Но, когда дошло до дела, всё враз переменялось.

Растянувшиеся в беге девчонки поодиночке прибегали со стороны «Новых Черемушек», обессиленные, задыхающиеся, успевающие выкрикнуть одно только слово: «Давай!..» — и мальчишки, приняв эстафету, один за другим резко брали с места и мощно, со страстью, устремлялись вдогонку друг за другом. Это страстное стремление во что бы

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru